

Из Петербурга в Кежму (1866–1867 гг.)

В начале 1866 года я подвергся страшной болезни. Чуть не с половины января почувствовалась глухая боль в левом боку, ниже ребер. Она усиливалась со дня на день, и делалась докучливее и несноснее. Лечь я мог только на левом же боку. При лежании навзничь и на правом боку, в левом чувствовалась какая-то ноющая пустота. Советы врачей и лекарства, прописанные ими, не помогали нисколько. Через месяц или полтора присоединилось еще сильнейшее биение сердца с неправильным, то утащенным, то замедленным темпом. Лежать и на левом боку не было никакой возможности. Амигдалин и дегиталин не производили ни облегчения, ни даже какого-нибудь действия. Последовала мучительнейшая бессонница, а морфий наводил только тягостную дремоту, но уснуть все-таки я не мог. Тоска, беспокойство и ощущение лихорадочного озноба, особенно ночью, были невыносимы. Я впал в отчаяние, и мысль о самоубийстве не выходила почти из головы. Однажды я приготовил уже в рюмке раствор синеродистого калия, и пошел как можно тише со свечою прежде в комнату дочери, а потом в спальню жены, чтобы взглянуть в последний раз на милых и дорогих мне личностей, и мысленно проститься с ними. Но едва возвратился я в кабинет и хотел взяться за рюмку, как появившаяся в дверях жена дрожащим от испуга голосом назвала меня по имени и спросила: «Что с тобою?». Я не мог ничего ответить, молчал, и стоял, упершись в стол руками. Она взяла в одну руку свечу, и другою повела меня в спальню, где мы просидели всю ночь. Слезы, мольбы и ласки ее подействовали на меня так, что я твердо решил как не страдать, а не прибегать уже к самоубийству, и утром незамеченною женою рюмку с ядом, стоящую на столе в кабинете, я выплеснул в таз и старательно сполоснул ее.

Решимость жить однако же не облегчила страданий жизни: напротив, они усилились как по ходу болезни, так и обстановкою житейских отношений. Поворот к мертвящему схоласти-

цизму с чехами наставниками, убийственные известия от родных и знакомых, ярая и неистовая проповедь Торквемады²⁵⁹-Каткова и, наконец, злодейское покушение 4 апреля обезумевшего ма-ньяка Каракозова – все это как порознь, так и совокупно массою налегало, жало и давило на раздраженную и уже расстроенную нервную мою систему и усиливало страдания, которые я хотел переносить с твердою решимостью. К физическим болям присоединилось еще давление в горле.

В этом-то состоянии, в ночь с 30 на 31 мая, я был арестован и заключен в камеру № 1 Сретенской части, и здесь, не далее как в третью бессонную ночь, со мною начались галлюцинации слуха. Невидимые голоса отзывались за дверью и за окном камеры, разговаривали, пели, кричали, обращались ко мне с вопросами, ругательствами и угрозами. Меня отправляли несколько раз в следственную комиссию, помещавшуюся в доме генерал-губернатора, и всегда по ночам, а утром – в Кремлевский дворец, в какое-то особенное его отделение. 17-го июня спровадили меня в больницу тюремного замка, где не дозволили лишь курить папиросы, но не лечили ничем, и, должно быть, поместили только на испытание. Как можно судить по грубым выходкам невежественного и крайне глупого смотрителя, обращавшегося ко мне с бессмысленным увещанием «не притворяться», тогда как я не говорил ни с кем ни слова, и ни об чем не просил его. Галлюцинации усиливались, и бессонница достигла полнейшего развития. Грызущая внутренняя тоска заглушала и боль в боку, и биение сердца. Появился новый симптом – сильнейший отек в ногах.

11 июля жандармский полковник Воейков отправил меня из больницы в Петербург. Я уехал, не простясь даже с семейством. Нашли, что это ни с чем не сообразно и противозаконно.

В петербургской Петропавловской крепости галлюцинации с настоящими фактами так перемешались в моем уме, что и теперь я не в состоянии отличить одних от других. Как сквозь

²⁵⁹ Торквемада Томас (1420–1498) – испанский инквизитор. С 1483 года до своей смерти был генеральным инквизитором. Является символом казней и кровавых приговоров, вынесенных на процессах Святой инквизиции.

сон припоминаются личности: и грозного графа Муравьева, и холодно-гордого коменданта Сорокина, и саркастического какого-то немца-доктора, навязывавшего мне *delirium tremens*²⁶⁰, и утверждавшего положительно, что я непременно предавался запою, хотя фактически раз только, и то для опыта, во время своей студенческой жизни я был пьян, и, пристрадавши на другое утро головною болью, не решался никогда выпить сколько-нибудь лишнего. Помнится мне и приходивший с доктором некто ухмыляющийся г-н Никифораки, настаивающий на том, что мне можно бы, не смотря на запрещение, курить табак, читать книги и писать письма, все-таки дать священное писание для развлечения и просвещения ума. Помню и симптоматичного, являвшегося ко мне как ангел-утешитель, плац-адъютанта, полковника Сабанеева, с которым однажды явился *incognito* и его высочество принц Петр Георгиевич Ольденбургский²⁶¹, как я после узнал, в заседание Верховного уголовного суда, которого он был членом. Только эти два лица обращались со мною как с человеком, и по-человечески, с теплым участием, соболезнованием и возможными успокоением и утешением, чего от прочих, я, к несчастью, не испытал. Но хуже всех меня мучили проклятые голоса: и про что же они не расспрашивали, в чем не обвиняли меня? Была тут речь и о революционных прокламациях, и о фальшивых ассигнациях, и о пожарах в Петербурге и Москве, и о намерении взорвать Кремль на воздух, и о жене моей, постриженной в монахини, и о дочери, записанной в проститутки, и о бегстве Домбровского, и о сношениях с неизвестными мне какими-то Петрищею, Эвальдом, Гейштором, Гакинфом-Окаянным, и, наконец, о дружественной, чуть не любовной связи с какою-то Шимановской. Я крепился, сколько имел силы, молчал, не давал ответов на вопросы и не входил в разговоры с ними. Но иногда принужден был разразиться ругательствами, на какие только мог собраться. Но это нисколько не помогало. На ответ мой, что я никакой Шимановской не знаю и знать не хочу,

²⁶⁰ Белая горячка (лат.).

²⁶¹ Ольденбург Петр Григорьевич (1812–1881) – князь, генерал, общественный деятель. Внук Павла I.

сказано было, что познакомлюсь на виселице в одной петле с нею. Раз за дверью услышал я жену свою, звавшую меня подойти поближе для секретного разговора. Я подошел к двери – и что же? Жена упрасивает меня сказать ей поскорее, где у меня спрятаны секретные письма и бумаги, чтобы она успела поспешнее уничтожить их, пока они не попали в руки полиции. Ни писем, ни бумаг секретных у меня не было никаких, жена знала это очень хорошо, а вся библиотека моя, рукописи и коллекции были взяты в комиссию. Я ответил руганью, за которой посыпались на меня отовсюду угрозы с остервененною бранью, и не женским, тихим, мягким и ласковым шепотом, а мужским, густым, хриплым и злобным ревом. Без малейшего перерыва, ни днем, ни ночью, голоса эти не умолкали в камере, и прерывались только, и то не всегда, когда кто-либо посторонний посещал меня. В комиссии, когда я оставался один в комитете, они начинали настоятельно требовать от меня самого дикого и несообразного показания, и даже в заседании Верховного Суда раза два или три они громко подсказывали мне словесные ответы и я не всегда мог не повторить их! Вот почему я все данные мною показания и ответы, как письменные, так и словесные не могу теперь признать своими.

Следствие кончилось, и камеру ко мне явился назначенный мне судом присяжный поверенный г-н Серебряный, который через год после, в бытность свою в Москве, упрекал меня пред многими моими знакомыми в моей недоверчивости к нему. Но при моем болезненном настроении и под гнетом постоянного раздражения и постоянной ругани, не знаю, какой откровенности можно было не только требовать, но даже предполагать во мне к лицу, вдобавок, совершенно мне неизвестному. Все-таки защитительная речь его превосходила речи других защитников, из которых один (не помню, кто) не защищал, а напротив, обвинял своего клиента, и в заключении высказал, что назначенная прокурором подсудимому смертная казнь чрез повешение слишком слаба и должна быть усилена. Уж не хотел ли г-н защитник сперва помыть подсудимого в кипятке, и потом повесить на просушку.

23 сентября Верховный суд дал окончательное решение, и 4 октября оно было прочитано нам на эшафоте. Странное дело: в этот промежуток времени, в продолжение целой долгой ночи, голоса молчали и не беспокоили меня, и я в первый раз уснул в Петербурге. Но столь благодатная ночь была только одна.

В зале суда я встретил в числе подсудимых московских знакомых своих: Трусова, Маевского и Лаунгауза²⁶². Тут же были Шаганов, которого я видел 2 раза, с Иштутиным²⁶³ и Черкезовым, виденных до этого только по одному разу. Прочие все были для меня совершенно неизвестными личностями.

Вечером 3 октября в домашней церкви коменданта Петропавловской крепости после вечерни какой-то священник стал на амвоне и обратился к нам с проповедью, очень красноречивою и сильно прочувствованною самим оратором. Жаль только, что все слушатели хотели остановить его словами: «Да полно фразерствовать и ломаться! Оставь! Ведь это и скучно, и отвратительно!» Как бы в вознаграждение за тяжкую пытку слушать целый час дичь и ахиною, выступил другой почтенный старичок и с теплою истинно христианскою любовью к человечеству пролил в души наши струю упоительного утешения. Не знаю, что удержало меня и как я не похватил его в объятия, чтобы заявить ему свою признательность, благодарность и уважение.

С эшафота, 4 октября нас в числе 13 человек в запертом вагоне в сопровождении жандармского офицера и 25 жандармов отправили по Николаевской железной дороге, и здесь я, по примеру прочих, разрешил себе куренье табаку. Досталось же мне за это угроз, брани и ругани от моих голосов, которые днем молчали, зато ночью хотели, кажется, вознаградить свое дневное

²⁶² Члены тайной польской организации в Москве.

²⁶³ Иштутин Николай Александрович (1840–1879) – русский революционер, выходец из почетных граждан, наделенных определенными привилегиями; с 1863 г. учился в Московском университете; в 1863–1866 лидер революционной организации (иштутинцы); арестован вскоре после неудачного покушения Д. Каракозова (сводного брата И.) на царя Александра II (16 апреля 1866 г.); приговорен к смертной казни, замененной перед казнью на пожизненную каторгу. До 1868 г. И. находился в тюрьме в Шлиссельбургской крепости, затем на каторге в Сибири.

бездействие. Остановка поезда на станциях нисколько не мешала им, и только тогда, когда почти половина находящихся в вагоне уже просыпалась и начинала разговаривать, они замолкали и оставляли меня в покое до следующей ночи.

7-го октября поздно вечером мы дотащились до Москвы. Иштуин оставлен был в вагоне, нас же 12 человек отправили в каретах в серпуховскую часть, откуда на следующее утро мы были отвезены на нижегородскую станцию и в новом вагоне, уже с 2 офицерами и 24 жандармами, начали свое *Drang nach Osten*²⁶⁴. Семейству моему в Москве не дозволили видеться со мною.

В Нижнем нас разделили на 2 партии, с одним офицером и 12 жандармами в каждой. Меня назначили во второю, отправленную сутками позже, командиром которой был г-н Соколов из Москвы. Из двух жандармов, приставленных ко мне, старшим был некто Кидинов, считавший в своем служебном усердии обязанностью командовать мною не только грубыми приказаниями, но даже и физическими пинками. Нельзя приписать другим жандармам той же доблести. Напротив, все они были вежливы и даже услужливы, и на одной почтовой станции едва-едва не побили моего ментора за его обращение со мною. Что же касается г-на Соколова, то это был один из многих пустейших юношей, окончившие какое-нибудь юнкеровское училище, и потому причисляющих себя к усовершенствованной расе, назначенной исключительно для командования прочим человечеством. Он с важностью, подобающею только государственному канцлеру, наблюдал за тем, чтобы все мы были в мундирной форме, т.е. в т.н. однорядке с бубновым тузом и буквами С.П.Б.Г. на спине, чтобы на подъехавшую первую телегу сперва сел № 1 с конвоирующими его жандармами, на вторую № 2 и т.д., чтобы при подъезде к станции, вышел и вошел в комнату № 1, затем № 2. Впрочем же всем предоставил распоряжаться своим подведомственным жандармам, считая для себя унижительным вмешиваться в какие бы то ни было мелочные житейские и неофициальные дрязги. Ежели бы кто из нас умер на дороге, то он, без сомнения, приказал бы жандармам вносить труп на станцию, и

²⁶⁴ Движение на восток (нем.).

потом выносить его, укладывать в телегу надлежащего номера, и везти так до Тобольска как места назначения. Ехал он за нами на седьмой тройке, и только, подъезжая под станцию, опережал всех, и первый выходил в комнату для присмотра за порядком выседания и вхождения. Настоящий римский *paterfamilias qui postremus it cubitum et primus cubitu*.

В каком-то городе, кажется, в Перми, мы подъехали ночью к станции и вошли в комнаты церемониально. Вдруг из дивана раздается хриплая ругань не замеченного прежде никем покоившегося на нем господина, требовавшего немедленного удаления таких как мы негодаев, так как нельзя не считать нашего сообщества кровною обидою для него, чиновника четвертого класса и кавалера севастопольской медали. Напрасно жандармы представляли ему свои резоны и советовали, не тратя времени, самому удалиться в другие апартаменты. Чиновник отстаивал не только свой диван, но и целую комнату, ругаясь с последних слов, но превежливо величая жандармами обращениями «господа, милостивые государи, почтеннейшие кавалеры» и проч. Г-н Соколов не вмешивался в дело, хотя эта возня продолжалась довольно долго, пока, наконец, содержатель гостиницы не явился сам и не упречил ярого чиновника перейти в другую спальную и с отдельным входом комнату.

В Тобольск мы прибыли 22 октября, сейчас же вслед за первой партией.

Здесь поместили нас в отдельном корпусе и в отдельных номерах, по двое в каждом. Произвели самый строгий обыск, отняли книги, бумаги, карандаши, спички и табак. Курить опять не позволялось. Обыски эти повторялись ежедневно при смене караульных, и вступающие в караул ощупывали нас, нет ли каких запрещенных плодов под бельем. Обед отпускался казенный, из двух блюд, чай же у нас был свой, самовар подавался в коридоре, и нас отпускали на чаепитие по 4 человека. Губернатор Деспот-Зенович²⁶⁵ два раза навестил нас. Он не входил в каме-

²⁶⁵ Деспот-Зенович Александр Иванович (1825/1829–1897) – ссыльный поляк, который, отбыв наказание, быстро начал продвигаться по русской служебной лестнице. В 1862–1867 годах был губернатором Тобольска.

ры, а только из коридора чрез окошечко в двери спрашивал об здоровье и довольны ли мы содержанием. Все эти господа официальные посетители не могут понять, каким сарказмом в ушах заключенного звучат эти слова: «довольны ли вы?» Это что-то немислимое. Я знал г-на Деспота-Зеновича, видел его несколько раз в Москве, и потом полагаю, что вопрос этот был им сделан спроста, и, что называется, не подумавши.

Со мною в одной камере очутился Мотков, несовершеннолетний юноша, ярый народник, болтливый говорун и энциклопедически вершущечный всезнайка. Он был сын вольноотпущенного дворового человека, и потому считал себя знатоком народности, любителем, вместителем, и чуть-чуть не заветною [скшиниею²⁶⁶] народного быта. К несчастью, он не понимал, что вышел из самой безнравственной, самой отверженной части простого народа, и что простой народ в своем простом крестьянском быту, ненавидит всею душою и всеми способностями его дворового человека-лакея, сильнее даже, недели своего помещика, соседнего кулака, приезжего чиновника и, наконец, приходского попа. Хлестать народными поговорками, заливать народною песнею, выплясывать народного трепака и одеваться в народный армяк – это настолько же выражает любовь народности, как и выпить касушку народной сивухи, или съесть хоть целый фунт народного шоколада фабрики Эйнель²⁶⁷ и пр.

Как бы то ни было, а помещение в одной камере с Мотковым подействовало на меня очень благотельно. Говорливость его развлекала меня. Мы то не соглашались один с другим и даже спорили, то сообщали свои впечатления, свои мысли, свои суждения. Он подчас развертывал предо мной свои планы и надежды, которых был у него большой запас; я одни одобрял, над другими смеялся как над несбыточными химерами. День прохо-

²⁶⁶ Имеется в виду сундук (по-польски skrzynia).

²⁶⁷ Имеется в виду фабрика Товарищества Эйнемъ. В 1850 г. в Москву приезжает немецкий подданный Теодор Фердинанд фон Эйман. В 1851 г. он открывает на Арбате небольшую кондитерскую по производству шоколада и конфет. В будущем эта кондитерская разрастается до размеров фабрики, после 1917 г. известной как кондитерская фабрика «Красный Октябрь».

дил незаметно. В первую ночь, как только Мотков уснул, голоса мои заговорили по-прежнему. Во вторую меня с вечера стало клонить ко сну, и я уснул, кажется, прежде Моткова. Около полуночи я проснулся от какого-то страшного сновидения, полежал несколько, успокоился, голосов не было, и я уснул вторично. К утру опять сновидение, опять я проснулся, опять тишина, и я опять уснул. Меня разбудил Мотков, вставший уже и звавший меня в коридор к самовару. Галлюцинации мои миновались, боль в боку, давление в горле, биение сердца и отек в ногах – эти физические симптомы болезни, на которые я, терзаемый галлюцинациями, не обращал давно внимания, прошли, должно быть, еще сами собою, безо всяких лекарств. Чувствовалась только сильная слабость, утомленность и разбитость всех членов. Место бессонницы заступила сонливость, но сон быстро восстановил как физические, так и душевные силы. Вообще я стал чувствовать себя здоровее и бодрее.

На другой день, по прибытии нашем, нас повели в приказ о ссыльных. Вошли мы в какие-то грязные, провонявшие махоркой и сивухой, закоптелые комнаты, заставленные посередине столами с кипами бумаг, а по стенам белыми шкафами плотничьей работы. За столами сидели испитые, измятые, исштопанные, грязные, неумытые и невыспанные рожи в потертых, полинялых и заплатанных даже сюртуках и фраках со светлыми пуговицами. Это Канцелярия Приказа. Один немолодой уже, должно быть, столоначальник²⁶⁸, сделал нам перекличку:

– Худяков! – Гм, не сын ли бывшего чиновника здешнего приказа?

– Точно так, – было ответом.

Спрашивающий сперва остоленел, смутился и промычал что-то, потом как бы встрепенувшись, начал излагать свое удивление и сожаление таким отличным манером, что только Гоголь мог бы своим пером воспроизвести этот трагикомический монолог. В душе бедняка произошла страшная борьба проснувшегося человека с заскорузлым чиновником.

²⁶⁸ Должностное лицо, возглавлявшее т.н. стол низшую структурную часть центральных и местных государственных учреждений.

По одиночке вызывали нас присутствие, несколько почище, поопрятнее и поблаговиднее прибранное.

– Ваш чин коллежский асессор, – спросил меня, должно быть, советник, смотря в бумагу, которую он держал в руках.

– Я лишен прав и чинов, – ответил я.

Он пристально уставил в меня свои глаза, кивнул головою, ткнул указательным пальцем отвесно в стол, как будто хотел прошибить его, откинулся на спинку кресла и сказал решительным тоном:

– Ну, так в Енисейскую губернию.

Аудиенция моя кончилась. Я узнал, что мне придется торчать где-то на протяжении где-то от Саянских гор до Ледовитого океана на каком-нибудь притоке Енисея, а может быть, и на самом Енисее. Дистанция огромного размера – больше всякого европейского государства! Мне вспомнилось из географии:

Северовосточный мыс – крайняя северная оконечность Азии и всего большого материка.

Красноярск – губернский город при большом сибирском тракте.

Енисейск славился прежде железными заводами. В округе его богатые золотые россыпи.

Минусинск – житница Сибири.

Туруханск – заштатный город вблизи полярного круга, торгует рыбою, мехами и мамонтовой костью.

Но вместе с тем вспомнилось и то, что изотермы там сильно погнулись к югу, а изохимены направились чуть-чуть не по меридианам. Будет, что будет, а думай, сколько хочешь – ничего не придумашь.

Нам выдали казенное белье, обувь и холстяные мешки для укладки имущества.

– Что здесь за люди? – спросил я Моткова в камере.

– Зияты, батюшка, зияты! – ответил он, подражая писклявому голосу старой бабы.

Через 3 или 4 дня к нам прибыли еще 4 человека из подсудимых, назначенных в ссылку на житье в Томской губернии без лишения прав. Их разместили вместе с нами, так что в некоторых

камерах было по три человека. Я с Мотковым остались по-прежнему вдвоем.

С первых чисел ноября нас стали отправлять по 4 человека. Мотков попал во 2-ю партию, мне пришлось отправляться с 3-й 10-го числа.

Нас везли далее уже на санях. По всей Тобольской губернии порядок поезда был следующий. Наши сани с конвойным ехали впереди. Далее тянулась вереница саней (до 10 и более) с т.н. гражданскими. На половине этапного расстояния производился полчасовой привал.

Тут можно было выйти из саней и прогуляться вдоль по дороге, не сходя с нее, подойти к следующим позади нас саням, разговориться с сидящими в них, одним словом, можно было иметь какие-нибудь приятные или неприятные сношения с людьми и обменяться с ними хотя парюю слов. В версте или полуторе от этапа опять остановка. Наши сани летели вперед во всю лошадиную прыть, прочие же подъезжали самым тихим шагом. Нас поспешно запирали в отдельную комнату и тогда только выпускали в ограду этапа весь прочий поезд. У ворот ограды уже толпились продавцы разного: съестного хлеба, калачей, лепешек, вареной и жареной рыбы, говядины, яиц, молока, творогу, а иногда даже и готовых пельменей. Мы, запертые отдельно, не могли иметь непосредственного сношения с ними, а чрез конвойных солдат за все платили несравненно дороже. Гражданские в этом отношении пользовались большею свободой. Они могли выходить за ограду и там торговаться, а при накоплении продающих, большею частью женщин, являлось соревнование, очень выгодное для покупателей.

Все этапы состоят из обширного двора, обведённого плотною стеною из заостренных вверху свай, с деревянными же одноэтажными постройками различного назначения. Почти всегда посреди двора стоит арестантская казарма, состоящая из 4-х обширных комнат. У ограды размещены квартира офицера, солдатские казармы, кухня, сарай и баня. Летом здесь арестантам должно быть довольно привольно, особенно днем, пока двери арестантской казармы не заперты. Но зимой иногда бывает та-

кая толкотня и давка, что люди местились чуть не один на другом, как сельди в бочке. В комнатах есть нары кругом стен, на которых можно бы довольно спокойно расположиться по крайней мере дюжине человек. Но когда в эту же комнату втолкнул человек 30 и даже более, то не только на нарах, но и под ними, кто послабее и потише, не найдет себе места. Сильные и бойкие, разумеется, криком, бранью и пинками сумеют отстоять себя. Надобно еще прибавить, что в 9 часов вечера, когда казарма запирается на ночь, в комнату вносится вонючий ушат, называемый парашкою, для известной необходимости. И вот, иным горемыкам, слабо приспособленным к борьбе за существование, приходится поместиться ко сну на полу, свернувшись калачиком, у самой парашки. И отчего же это? Господин офицер, в виду не сбережения казенного имущества, и собственных доходов, отпускает дрова на отопление одной только или двух комнат, и то в случае прибытия партии. А тут наступил ледостав, почта и движение арестантов, за невозможностью переправ через реки, остановились, партии накопились вдруг многочисленные, и этапные барины (как их зовут здесь) становятся иногда в тупик.

Вот что случилось с нами 17 ноября в Таре. Тройка наша подъехала к этапу, мы высели, взяли свои мешки и вошли в ограду. Конвойный отправился к его благородию барину. Нескоро вышел он к нам, ворча: «Отдельная комната! И с караулом! Вот еще чего не бывало! Где мне поместить этих головорезов? Черт знает!».

– Да в баню, ваше благородие, куда же? Негде больше, – сказал вышедший вместе с ним солдат.

– Ну, и пойдём в баню что ли? – промычал барин, бывший навеселе и, по-видимому, согласующийся во всем с мнением сопровождавшего его солдата.

Мы пошли в низенькую, закоптелую, тесную и нетопленную баню. Пришло еще несколько солдат.

– Ну, развязывайте мешки да общитесь хорошенько. Кинжалов-то, кинжалов нет ли?

– Обыск можно и после, мы присмотрим. А нужно бы сейчас вытопить баню.

– А и точно, правда твоя, брат Илюха, правда. Ступай же и распорядись.

Илюха ушел и сейчас же возвратился.

– Агафья Семеновна зовет вас, ваше благородие, она здесь.

– Что там ей приспичило такое? – сказал барин и сейчас же вышел за дверь, оставя ее отпертою.

На дворе Агафья Семеновна, молодая и довольно красивая женщина, накинув на голову меховую кофточку и закутавшись ею, тоненьким голоском докладывала своему барину:

– Как затопить? Да труба вся развалилась. Хотите разве этап сечь, и меня, и всех нас вместе с ним? Призовите-ка того альхи-тектур, авось не придумает ли он, что тут делать.

Илюха отправился за альхитектуром, Агафья Семеновна ушла восвояси. Барин пришел к нам в баню и ворчал только:

– Да запятнало бы вас! Наварначили²⁶⁹ там, в России, а теперь сюда варначить черт вас принес. Ишь, наделали кутерьмы.

Между тем партия саней в 8 подъехала в воротам. Вошедший солдат доложил об ней.

– Подождут. Чего им? – промычал барин.

Мороз доходил градусов до 20. Альхитектур не было и не было.

– Арестанты бунтуют, ваше благородие! – вскричал вбежавший солдат.

И в самом деле послышались за оградю отрывочные крики при общем гаме.

– Ахти, нелегкая! – вскричал бедняга, совсем растерявшись, выбежал из бани и громко скомандовал неизвестно кому: «Ружья заря-жай!» Голос Агафьи Семеновны пищал дальше где-то. Со мнимым бунтом как-то поладили, крики утомонились. Альхитектур все не было. Сумерки переходили уже в ночную темень.

Наконец явился барин с солдатами и альхитектуром. Несчастный субъект в потертой суконной шинели, окоченевший почти от холоду, был так пьян, что при поддержке одного солдата не мог устойчиво держаться в отвесном направлении. Его посадили на скамью у стены.

– Ну, вот. Как тут быть? Надобно протопить печь. А труба растрескалась. А? что делать?

²⁶⁹ Варнаками в Сибири называли ссыльных, политических и криминальных преступников.

– Что делать? Затопить.
– А как крыша и потолок загорятся?
– Загорятся – ну, загорятся и сгорят. Ну, чего еще?
– Да ведь и баня сгорит.
– Ну, сгорит, так постройку другую. Казна на постройку отпустит. Вам же лучше.

– Да здесь секретные арестанты, понимаете ли вы?

– А вам что секретные – жалко что ли?

– Ну, с тобою, брат, не сговоришься.

И в самом деле, с ним нельзя было сговориться. К счастью, Агафья Семеновна в той же кофточке, которую она, впрочем, сдвинула на плечи, впрыгнула к нам. Она осмотрела нас и с порядочно кокетливою развязностью поздоровалась с каждым из нас рукопожатием, и, надувши губки, обратилась к смотревшему на нее с раскрытым ртом барину:

– Вот что, печь можно будет протопить, нудно только поставить одного караульного здесь у печи, а другого на крыше у трубы. На дворе тихо и ветру нет. А то нельзя же держать господ на морозе. Вам-то хорошо, вы и чайком, и винцом-то согрелись, а они...

– Ай, да Агафья Семеновна! – промычал альхитектур. – Молодец, ей-богу! Молодец, бой-девка!

– Да она у меня воструха хоть куда! Ну, нельзя ее не любить, право, нельзя! Дай, я тебя поцелую!

– Подите вы, несуразник такой. Разве нет на то места и времени. Нашел, где! – и она выпрыгнула за дверь, накинув кофточку на голову.

Благодаря доброй Агафье Семеновне, дело наше приняло лучший оборот. Она с нами поздоровалась и назвала нас господами. Печь затопили и нам принесли даже самовар с чайным прибором. Солдаты успели захватить кое-какие остатки от распродажи съестного.

– Прикажете обыск сделать? – спросил Илюха.

– А делай, брат, делай. Кинжалов ищи, кинжалов. Да и табак-то, чтоб не проглядеть. Вишь, особое об них строгое губернаторское предписание. Гражданским можно, а им-то нельзя.

– Ну, пойдём, – сказал барин задремавшему альхитектуру, – Агаша уж, верно, чай приготовила. Эй, пошевеливайся, что ли?»

Мы остались с одним солдатом и по очереди грелись у печи. Печь, наконец, благополучно истопилась, трубу закрыли, самовар закипел, и мы отогрелись так, что поскидывали верхние пла- ты. К нам вошел Илюха.

– У меня есть полкартуза табаку Мусатова.

– Мы заплатим за целый картуз. Уступи, брат, пожалуйста.

– Извольте. Отчего же не уступить.

Сделка сделана. Табаку было менее полчетвертки, но мы про то не заикнулись.

– А бумаги нет – как же быть?

– Нешто у Агафьи Семеновны спросить? Она бабенка слав- ная – даст.

– А кто она? Дочь что ли этапного?

– Какая дочь? Ну, сожительница. Она расейская, поселка. Пришла года три тому, с отцом, да добрая такая, бабская. И уме- ет же держать его в руках. Ух, как умеет! Это вот недавно умерла у нее дочурка, так она присмирела, а то, бывало, не дает она ему спуску в чем. Держись только.

Агафья Семеновна в самом деле прислала нам целый лист белой папирсной бумаги, да еще собственноручно свернула по одной папирске каждому в розовой бумажке.

Первые две партии прошли благополучнее. Только по отъ- езду второй заметили, что потолочные балки и князек у стропил обгорели и обуглились. Одна половина казармы не отаплива- лась совсем, и была превращена в склад зимних запасов, а в дру- гой, отапливаемой, не было отдельной комнаты с особым ходом, следовательно, содержать нас в секрете и в разобщении с прочи- ми арестантами не было никакой возможности.

Вообще эти этапные барины – все до одного – прекурьезные экземпляры. Трудно сказать, откуда их набирают. К одному, на- пример, во время обыска у нас, подходит солдат и рапортует: «Ночлежники, ваше благородие!»

– А много?

– С полдюжины соберется, ваше благородие.

– Пусти, пусти поскорее в баню или при кухне, как знаешь. Пусти, а то, прах их возьми, сожгут!

Это явились бродяги, ушедшие из заводов и требующие приют на ночь.

Другой пустится читать наставления:

– Ну, что вам вздумалось, что вздурилось, от святости перебесились! Вот помню: так пусть поганый нехристь салтан даст мне хорошее жалование да доходное местечко, буду служить ему верою и правдою до последней капли крови и до последнего издыхания. Живот свой положу за него.

Третий разыгрывает роль либерала с университетским даже образованием. Он слушал лекции Сеченова²⁷⁰ в медицинской академии, и так был восхищен ими, что, не пропуская ни одной, ездил аккуратнo со своей квартиры на Арбатской площади. Четвертый был в дружественной переписке с Достоевским, и прочее в таком же роде.

Один из таких либералов пригласил нас к себе откушать чаю, и за самоваром на диване заседала его Маша, Паша или Саша (не упомню), разливавшая чай и угощавшая нас папиросами. Она похвастала, что очень любит изящную литературу и жаловалась на недостаток книг. У нее нашлись: сборник романсов, песен и шансонетов, изданный московскими фабрикантами книжного товара, довольно новенький и, вообразите, страшно зачитанный и истрепанный роман Чернышевского «Что делать?».

Так мы проехали Тобольскую губернию. В Томской все изменилось. Здесь нас уже не запирали особняком, не обыскивали, и курить дозволялось сколько угодно. Здесь мы могли видеться, сойтись и даже сблизиться со своими спутниками. И как разнообразны, как не похожи один на другого эти спутники. Едва ли где могут сходиться такие противоположности.

Place aux dames²⁷¹ – говорят французы, и я начну с дам. Их было три. Одна, ссылаемая в каторжные работы, с ребенком, родившемся в тюрьме, и две молоканки²⁷², мать с дочерью.

²⁷⁰ Сеченов Иван Михайлович (1829–1905) – русский физиолог, с 1861 года читал лекции в Медико-хирургической академии в Петербурге.

²⁷¹ Место – дамам (франц.).

²⁷² Молокане – религиозная группа, отколовшаяся от Православной церкви в XVI веке. Причиной раскола стал протест против отказа от молока и мо-

Первая, молодая и недурная лицом, была какою-то озлобленною ведьмою. Со всеми она ссорилась и заедалась, везде на этапах жаловалась и бессовестно взводила на других придуманные ею обвинения. Все чуждались ее и избегали всякого с нею сношения. За нее получил батогами, совершенно невинно, один молодой парень, не хотевший услужить ей в чем-то, и пожилой уже поселянин, избранный партией в старосты. Только ребенка своего, девочку, она любила и берегла. Она была в услужении у какого-то сельского священника, и ее соблазнил сын этого священника, семинарист, приехавший на каникулы. Отец, узнавши про их связь, задал сынку на прощание порядочную порку, а ее подверг церковной епитимии. В отместку она подожгла ночью дом священника, и сожгла все село дотла.

– Да и допекла же я всем им, фу, как допекла! – говаривала она с видимым самовосхвалением.

Семейство молокан состояло из старика отца со старухою женою и двоих детей: сына 18-ти и дочери 14 или 15-летней. Это были тихие, смиренные, молчаливые и, пожалуй, более утрюмые, недели обходительные люди, не насмешливые, не злословящие, мягкие и чистосердечные. Держались они всегда как-то в стороне, поодаль, не спрошенные не вступали ни с кем в разговоры, а спрошенные отвечали коротко и всегда ласково, даже когда другие нахально приставали к ним с целью вывести их из терпения. «Пусть себе и так, мы не оспариваем» – часто было их ответом на упреки, делаемые их обычаям и верованиям. Когда в разнокалиберной толпе поднимались споры, брань, и ругательства сыпались градом, старик обращался к детям: «Не слушайте вы этих сквернословий, они более оскверняют извергающего их, нежели того, к кому направлены». И дочь нежно взглядывала в лицо матери, а та отвечала ей, обнимая руками ее голову и целуя ее в лоб. Молодой парень только сосредотачивался и смотривал на отца и мать с сестрою каким-то ровным, спокойным и стойким взглядом. И сын, и дочь были походи лицом на мать, белокуры, красивы и здорово сложены. Оба они предупреди-

льных продуктов во время Великого поста. В конце XIX века в России было около 0,5 млн. молокан.

тельно прислуживали родителям, и получали от них за каждую прислугу «спасибо». Когда поджигательнице в дороге ребенок ушибся и заболел, то, трудно себе представить, с каким соболезнованием и попечительностью ухаживали за ним обе молоканки. Я всегда старался ближе поместиться к ним, и часто любовался их взаимными семейными отношениями. Они заметили это, и были со мною едва ли не ласковее, чем с прочими. Их переселяли на Амур. Коллега мой, Малинин, бывший семинарист, сын священника, отличившегося в борьбе с раскольниками, вздумал вступить в богословское прение с ними. Будучи слаб в этой отрасли человеческого знания, я не могу упомянуть всего их спора, но конец его очень мне памятен. Послышалась площадная брань в соседней комнате, и старик, покачивая головою, сказал:

– Слышите? А ведь слово – зерно, и вот оно сеется, а что же может вырасти из него?

Малинин замолчал.

Был в нашей партии и полковой писарь, родом сибиряк, которому мы очень не нравились. Ему неловко было развернуться со своею образованностью и всеведением, и это его, по-видимому, сильно мучало. «Грубый народ, темный-с, никакого просвещения не приобрел» – говаривал он, обращаясь к нам и указывая глазами на предметы своего презрения, которых ему не удалось надуть каким-нибудь образом. У него были и карты, которые он держал за голенищами сапог, и бумажки с иголками, и грошевые зеркала, и мыльца разные, и румяна для красоток, и даже неизвестно на что ртуть, закупоренная в гусиные перья. Он все покупал и все продавал и, зная свою родину, не давал промаха в коммерческих спекуляциях.

Под стать ему был другой, уже не молодой, здоровенно-геркулесовски сложенный экземпляр, не сибиряк, но знающий Сибирь едва ли не лучше всех сибиряков, вместе взятых, потому что он уже 8-й раз шел по направлению на восток по большому тракту. Торговки съестными припасами на всех почти этапах его узнавали. Только одна звала его Иваном, другая Прохором. Теперь он шел под именем Скрыпочки, про настоящее же его имя, верно, и сам он позабыл. Он постоянно собирал вокруг себя

толпу зевак и повес, занимал ее самыми вздорными и несбыточными рассказами, и пользовался у одного хлебом, у другого молоком, у третьего – куском мяса, и был постоянно сыт и весел. Мотков находил в нем много народного юмора, и заслушивался его росказней.

Но почище всех был кантонист, крещеный жиденок. Трудно встретить где-нибудь такую бессовестно-нахальную натуру. В нем, кажется, собралось и слилось воедино все, что может только назваться пороком и развратом. Он с наслаждением и восторженною гордостью хвастался своими воровствами, обманами, доносами и наглостями, считая все это не более как шалостью и удачью молодости. Например, он бежал в Бобруйске из крепости и явился к своему дяде еврею. Тот, не зная, что с ним делать, спрятал его в чулане, и пошел посоветоваться с родным и с раввином. Те сказали, чтобы он немедленно заявил в полицию о своем племянничке беглеце. Вечером еврей, в сопровождении полицейских, возвращается домой, но племянничка уже нет и вся его семья в переполохе. Хозяйка тетка послала свою дочь в чулан с кушаньем заключенному, но тот не удовольствовался этим и накинулся на свою кухню с прямою целью изнасиловать ее. На крик бедной сбежались все, бывшие дома, а любезный племянничек бросился из чулана на двор, кого оттолкнул, кого с ног сбил, выскочил на улицу, пользуясь сумерками, сорвал шапку с первого проходящего, и был таков. Через неделю его поймали где-то, верст за 30, и он на допросе оговорил своего дядю в подговоре к бегству и в обещании доставить ему средства пробраться за границу.

– И подержали же его, пархатого жида, более двух месяцев в тюрьме, и пообобрали начисто, как липку, а то он выдал бы меня, мерзавец. Жаль только, что мне не удалось с Сарой. Аппетитная была девчонка! Она думала, что я ласкаюсь к ней так, по-родственному, и поцеловала меня, я хватать валить ее, она испугалась, да голосиста же бестия, как закричала: «Ай вай мир!» – так и не пофартило. Ну, что ж делать, не всякому финту – фарт, бывает и промах. От него я узнал два новые слова тюремного жаргона: финт – уловка, обман и фарт – счастье, судьба (не от *fatum* ли).

Производный от первого глагол финтить был, впрочем, и прежде мне известен.

Человек более 10 было в нашей партии поляков. Одни из них были захвачены во время конскрипции²⁷³, произведенной в Варшаве 3 января 1863 г., доставлены по ж/д в Петербург, и там стойко отказавшиеся присягнуть на верность службы. Три года их перевозили из одного города в другой, из одной тюрьмы в другую, и наконец, осудили в каторжные работы. Другие, большею частью из Литвы, Волыни и Подолья, были взяты в сшибках с оружием в руке. Это были ремесленники, рабочие и крестьяне. Между ними был один несчастный жмудин²⁷⁴, не знавший ни слова по-русски и, со свойственною всем жмудином замкнутостью, не выучившийся тоже ни одного слова в продолжении трех лет тюремной сидки и этапной peregrinacji²⁷⁵. Он сидел где-нибудь в уголку, подальше от всех, и то шептал по-литовски молитвы, держа в руках четки, то мурлыкал под нос: «Бува жмогусь баготась» (песню о богаче и Лазаре).

Замечательнейший из всех их был Шостак. Прямодушие, откровенность и неподдельный юмор, выработанный незамысловатую обстановкою крестьянского быта, так и струились при каждом его слове. Целый день на ногах, он приседал только во время еды.

– Нужно двигаться, двигаться. Не сидите вы, до сту дьяблов, как насадки на яйцах, а то прокисните и плесенью покроетесь, и мне, далипан (ей богу), будет вас жалко. Ведь как подрастет, то могут выйти из вас порядочные хлопы (мужики).

И в подтверждение своей мысли он пускался в пляс, притопывая и напевая:

– Szwoleżery, pionery,
Kirasiery i szassery,
Grenadjery, muszkietery,

²⁷³ Рекрутский набор (франц.).

²⁷⁴ Жмудин – литовец.

²⁷⁵ От латинского peregre – странствование, путешествие, пребывание за границею.

Kosynijery, kanoniery,
I uciekiniery,
I uciekiniery!²⁷⁶
– Slavus saltuns²⁷⁷! – подумал я.

Песни часто, особенно под вечер, раздавались в польских кружках. Там кого-нибудь на мазурочный темп затынет:

– Nie ten wielki, co zaczyna,
Większy, co sprawę zakończy,
A więc zdrowie Milutina²⁷⁸,
I niech żyje nam Berg²⁷⁹ rączy!
Mieszały nam w naszej sprawie
Ostrobrama, Częstochowa...
Lepsze stokroć prawosławie.
A więc zdrowie Murawiowa!
Murawiov już stracił zdrowie,
Pracując dla dobra stanów.
A więc wiwat Kaufmanowi²⁸⁰,
Wykonawcy jego planów!

(Не тот велик, кто начинает, больше тот, кто кончает дело. Ну, так здоровье Милютина и да здравствует нам юркий Берг! Помехою были в нашем деле Остробрама и Ченстохова. Лучше во стократ православие. Ну, так здоровье Муравьева! Муравьев уже потерял здоровье, трудясь для блага сословий. Так ура же Кауфману, исполнителю его предначертаний).

Далее не упомяну. Говорилось еще что-то о Черкасском и других личностях.

²⁷⁶ Кавалеристы, пионеры, / Кирасиры и стрелки, / Гренадеры, мушкетеры, / И беглецы, / И беглецы (польск.).

²⁷⁷ Славянин пляшущий (лат.).

²⁷⁸ Милютин Николай Алексеевич (1818–1872) – статс-секретарь Царства Польского, один из авторов крестьянской реформы в Царстве Польском. Возможно, автор имел в виду и Дмитрия Милютина.

²⁷⁹ Берг Федор Федорович (1794–1874) – русский генерал, ответственный за подавление Январского восстания.

²⁸⁰ Кауфман Константин Петрович (1818–1882) – генерал-губернатор Вильны в 1865–1866 годах. Войска под его командованием захватили Бухару и Хивы.

Другой разразился краковяком:

Idziem na ostatki
Hulać do Kamczatki.
Prześliczna to strona,
Śniegiem wybielona.
Domy jak piwnice,
By pniaki – dziewice.
Oj. Że dana-dana,
Syberia kochana!

(Идем под конец гулять в Камчатку. Премилая это сторона – снегом набелилась. Дома как подвалы, девушки как колоды. Ай, люли-люли, любезная Сибирь!)

Или полькою – с припевом:

A kibitka jak febra, jak febra, jak febra,
Łamie koście i żebra, i żebra nam!

(а кибитка, как лихорадка, ломит кости и ребра нам!)

То веселый напев подменяется заунывным и плачевным:

Żegnam was, mili rodzice,
Żegnam was, hoże dziewice,
Bądź zdrowa, rodzinna chata,
Żegnam cię, ziemio garbata,
Tyś bagnietem zaorana,
Kulami wzdłuż, wszерz zasiana,
Ciałem braci utuczniона,
Krwia jch hojnie oroszона.
Żegnam was!

(Прощайте, любезные родители, прощайте, красные девицы, прощай родная хата, прощай ты, земля горбатая²⁸¹! ты вспахана штыком, пулями засеяна вдоль и поперек, удобрена телом братьев, и богато орошена их кровью. Прощайте!)

²⁸¹ Ziemia garbata – северное предгорье Карпат. Не отсюда ли montes carpatici римских географов? – прим. М. Маркса.

Все то вопли безнадежного отчаяния²⁸².

Мне вспомнилась диссертация Шевырева²⁸³, защищаемая им *pro venia legendi*²⁸⁴ в Московском университете, в которой он доказывал, как дважды два четыре, что все славянские народы певучи, за исключением поляков, которые под гнетом многовековой тирании онемели. Вспомнил я тоже, как старший Киреевский, прочитавши ее, сложил молитвенно руки, вздохнул и сказал: «Прости ему, Господи, не вестъ бо, что брешет!»

Один только из поляков не принимал никакого участия в этих песнях, да и в разговорах даже. Это был унияцкий базилианский священник Мороз, из Холмской епархии, упорно сопротивлявшийся и решительно отказавшийся от перехода в православие. Он или молча сидел на нарах, куря табак из длиннейшего чубука, или, скрестивши руки за спиной, ходил по комнате, не разговаривая ни с кем и сосредоточенно задумавшись. Разбитая жизнь, видно, была ему очень и очень тягостна.

25 ноября все три наши партии съехались в Томск. Рассказам и сообщениям не было конца, и в два дня нашего пребывания, кажется, не переговорили и половины того, что хотелось.

Этапные барины по Томской губернии не отличаются ничем от тобольских. Правда, они у нас уже не искали кинжалов, табак не конфисковали, и в особые комнаты не запирали, но также не отапливали все казармы и оплачивали арестантов, как сельдей в бочку. На одном этапе, когда все стали громко роптать, что в этой тесноте негде ни стать, ни сесть, не только что лечь, явился разъяренный барин, и заявил, что у него здесь помещалась целая сотенная партия, в большей комнате 50 человек, а в меньше 30. «Неужели?» – спросил, улыбаясь, Федосеев.

– Как ты смеешь смеяться надо мною? Сейчас обдую тебя ба-тогами, и потом покажу артикул, по коему я имею на то право!

²⁸² Поэт Аснык имел полное право сказать: *Pójdź do nas! Dalej do koła! Z nami zabawisz się pięknie! I będziesz śpiewać i tańczyć, aż nim ci serce nie ręknie!* (Поди к нам! Скорее в хоровод! С нами повеселишься прекрасно! И будешь петь и плясать, пока сердце у тебя не лопнет!) – прим. М. Маркса.

²⁸³ Шевырев Степан Петрович (1806–1864) – историк литературы, журналист, сторонник славянофильских взглядов и теории официальной народности.

²⁸⁴ С правом чтения лекций (лат.).

Оспаривать такие аргументы, кажется, невозможно, и пришлось провести ночь, сидя на своих мешках и, или опершись спиной об стену, или положивши голову на колени соседа. Только под нарами, на полу, можно было улечься, и то, принявши положение нерожденного еще плода в утробе матери. Мне удалось попасть туда и, кажется, я не остался в накладе. Пофартило!

Замечательны однако две характеристики томских этапов.

1) Когда партия являлась, то и отапливаемая половина казармы была холодна. Арестанты должны были сами наносить дров, истопить печь, запастись водою, внести на ночь вонючую парашку, и утром вынести ее, разумеется, под конвоем.

2) Кормовые деньги очень часто удерживаются господами офицерами, с объявлением, что будут выданы на следующем этапе, а это фактически всегда означало «попрощайтесь с ними». Многим беднякам пришлось бы оставаться на самой строгой диете, ежели бы взаимный артельный кредит не облегчал, хотя отчасти. Последствий такого грабежа.

В кратчайший день в году, 10 декабря, мы прибыли в Ачинск, окружной город Енисейской губернии, назначенный мне в тобольском приказе о ссыльных. Здесь, между прочими арестантами, застали мы одного какого-то помещика Подольской губернии с женою, только что родившею ребенка. Не знаю, какова была бедная женщина, решившаяся, будучи беременной, следовать за мужем, но сам г-н помещик был какой-то недоваренный ли переваренный субъект. Через день после нас прибыла еще партия, а с ней какой-то зажиточный еврей из Царства Польского (к величайшему сожалению, фамилии его не могу припомнить). Его довольно объемистый чемодан до половины был занят книгами. Гоголь, Лермонтов, Мицкевич, Пол, Сырокомля и Шиллер были взяты им в ссылку, быть может, безвозвратную, вместе с ветхозаветным молитвенником на польском языке. К базилиану Морозу он оказывал особенное предпочтение, поил его чаем, предлагал ему лучшие сигары, и обращался постоянно к нему словами: «*reverendissime pater*»²⁸⁵. Он внимательно на-

²⁸⁵ Почтеннейший отец (лат.).

блюдал жиденка-кантониста, и презрительно выразился об нем: «Ренегат не может быть лучше. Я хотел бы когда-нибудь спросить христианство, что оно приобретает, стараясь увеличить число своих таких последователей?»

В Ачинске мы пробыли 6 дней. Они прошли быстро. Книг было вдоволь, и было чем отвести душу.

19 декабря мы вчетвером с Малининым, Маевским и Федосеевым прибыли в Красноярск и попали из огня в полымя. Замысловато распорядился принять нас, мирных поселян, г-н Замятнин²⁸⁶, бывший тогда енисейским губернатором по непотической связи с братцем, министром юстиции и нашим прокурором.

Нас отделили от прочих арестантов и заключили не в комнате, а в прачечной, находящейся в подвале. Приставили к нам 4-х жандармов с револьверами. Один из них должен был стоять на часах у входа с обнаженной саблею, а трое сидеть в заключении с нами. Нам не дали ни воды, ни огня, как будто проклятым папскою буллою. Четверо нас должны были разместиться на нарах так, чтобы между нами могли улечься, не раздеваясь, жандармы. Должно быть, г-н губернатор боялся, что мы станем загрызать друг друга, и чрез то кого-нибудь из нас может не досчитаться.

Но заключенным с нами жандармам было не лучше нас, и потому сейчас же явились и вода, и самовар, и свечи, и съестное вроде белого хлеба, сыру, колбасы и пр. мы подкрепились на силах и легли спать на нарах, и жандармы при наших свечах и покуривая наш табачок, всю ночь резались в три листа.

Утром на другой день опять доискивались у нас кинжалов. Пошло все по-тобольски, курить только разрешалось.

В Красноярске нас продержали по 1 января 1867 г. в это время к нам прибыли на несколько дней сперва Мотков, шедший из Томска пешком и в кандалах, а потом Ермолов со страшнейшими цинготными ранами на ногах. Его однако же не оставили в красноярской больнице, не лечили и после дневки отправили в Нижнеудинск.

²⁸⁶ Замятнин Павел Николаевич (1805–1879) – генерал-майор, первый енисейский военный губернатор (1861–1868). Брат министра юстиции (1862–1867) Дмитрия Николаевича Замятнина.

Посетил нас, тоже несколько знакомый, генерал Кукел²⁸⁷. Вошел, посмотрел на нас как на диких зверей, не сказал ни слова, повернулся и ушел. Чего и зачем приходил он – на то едва ли сам он сумеет ответить. Мое же мнение: себя показать.

1 января в сопровождении двух жандармов вывезли нас на двух подводах из Красноярска, и 5-го утром мы подъехали к полицейскому правлению, по случаю сочельника не было ни исправника, ни его помощника. Секретарь расписался в получении нас, жандармы ушли, а секретарь выходил из присутствия.

– Куда же деваться нам? – спросили мы.

– На все четыре стороны, – ответил он, надевая шубу.

Мы вышли: еще на лестнице встретил нас какой-то молодой человек, прилично одетый, и сказал нам, что для нас в соседственном доме у г-на Бобровича приготовлена комната и он проводит нас к нему. Мы пошли, таща с собою свои пожитки.

Бобрович был из ссыльных поляков. Дела его как отличного столяра шли хорошо, и он уступил нам одну комнату на время, пока нас не увезут далее. Теперь выяснилось, что мы назначены в Енисейский округ, но один округ этот со своим Туруханским отделом больше Франции и Германии, двух сильнейших европейских государств, вместе взятых. Туго и грозно разъяснялась мучительная неизвестность. Нас направляли к северу.

На другой день меня посетили несколько человек из московской молодежи. Разговоров и расспросов о прошедшем было много, а о будущем и говорить не хотелось. Утешительного ничего сообщить не могли ни они мне, ни я им.

7-го утром нас усадили опять на двух подводах и, в сопровождении какого-то крестьянина с медной бляхой на груди, отправили вверх по Енисею в деревню Рыбную для передачи участковому заседателю.

²⁸⁷ Кукель Болеслав (1829–1869) – поляк, генерал-майор Армии Российской Империи. В 1863 году стал военным губернатором Забайкальской области и наказным атаманом Забайкальского казачьего войска. В 1865 году – начальник Штаба войск Восточной Сибири. В июне 1866 года подавил забайкальское восстание, начатое ссыльными участниками Январского восстания, за что был награжден орденом Св. Станислава I степени.

Заседателя в Рыбной мы не застали. Он уехал в Кежму собирать ясак²⁸⁸ с тунгусов. Нас здесь предостерегли, чтобы мы запаслись на дорогу хлебом, потому что в следующих деревнях, лежащих уже по Ангаре, можем не найти ничего съестного. Поехали мы далее от одной деревни к другой. Возчики сдавали нас в следующей деревне другим возчикам вместе с пакетом, на котором была грозная надпись: «под строжайшим караулом». Везли нас по большей части женщины, и то одна на обе подводы. Дивный караул на 4-х мужчин.

Пошли деревни: Потоскуй, Погорюй и Покакуй, в которых в самом деле не было ни куска хлеба. Самовара тоже не оказалось нигде. Кипятили мы воду в чугунных горшках, засыпали туда чаю, и обходились им, дополняя закупленным хлебом.

В одной из этих деревень нашли мы цыганку. Это была одна из тех, которых генерал Вистицкий, выживший из ума старик, записал крепостными в свое смоленское имение, и потом всех годных в военную службу мужчин отдал в солдаты в зачет, а женщин и всех негодных сослал в Сибирь на поселение. Это было при Николае Павловиче. Прекрасное тогда было времечко для генералов.

Ехали мы далее вверх по Ангаре таким же порядком, и с таким же конвоем, везшим с собою пакет, содержащий в секрете нашу неприглядную будущность.

Поздно вечером впереди шли шагом сани, на коих сидел 14-летний мальчик, наш возчик и конвойный и лежали Маевский и Малинин. За ним другие со мною и Федосеевым. Мы лошадей не правили, сама она шла за первою и не отставала от нее. На реке лежал густой туман, называемый копотью, и состоящий из мельчайших медяных игол, оседающих чрезвычайно медленно на землю. Вдруг с первых саней раздался крик и послышался громкий говор. Оказалось, что мы наехали на полынью, т.е. замерзшую часть реки. Мальчик громко плакал, его уговаривали. Федосеев выскочил из саней и побежал вперед. Бились во все стороны, отыскивая, куда ехать и едва-едва чрез полчаса нашли

²⁸⁸ Натуральный налог, который платили царской власти подчиненные народы Сибири. Фактически «обьясаченные» обозначает подчиненные.

прочный обезд. Я все это время пролежал в саних неподвижно. При моей близорукости в тумане, когда и днем в трех шагах трудно различить что-нибудь, что я мог сделать? Апатия отчаяния говорила мне, что разбитою жизнью незачем дорожить, не на что сберечь, и что потеря ее менее побеспокоит людей, нежели потеря медной солдатской пуговицы. Вспомнил только про дорогую жену, про любимую дочь, и мысленно простился с ними навсегда, навсегда.

Добрались, наконец, до Пинчуги. Здесь в волостном правлении распечатали пакет, и дело выяснилось окончательно. В Пинчугтскую волость назначены Малинин – в село Богучаны, и Федосеев – в Чадобец. Мы же с Маевским должны ехать еще далее, в Кежму. Маевский в селе Кашино-Шиверское (с одной стороны Ангары Дворец, с другой – монастырь, хотя там и нет никакого монастыря), а я далее всех – в самую Кежму.

В Кежму мы приехали 24 января, т.е. двигались со скоростью по 31 версте в сутки. На другой день Маевский уехал обратно, к месту своего назначения, и в Кежме остался только я. Отыскав у одного крестьянина горницу, т.е. комнату без полатей, я договорился за полтора рубля в месяц с отоплением и самоваром.

В Кежме помещается волостное правление, с тех пор, как прежнее богучанское комиссарство разделено на две волости: Пинчугтскую и Кежемскую. На берегу величественной Ангары, называемой Подкаменной Тунгускою, возвышается в ней каменная, довольно обширная церковь, со слюдяными окнами и сланцевым полом. Все лучшие постройки толпятся вокруг церкви, и все улицы расходятся от нее. Далее помещаются лачужки, едва достойные названия избы. Такова была Кежма в 1867 году. Теперь, говорят, она обстроилась и украсилась даже двухэтажными деревянными домами, со стеклянными окнами вместо слюдяных, брющинных и даже бумажных, пропитанных рыбьим жиром. Почта отходит и приходит из Енисейска два раза в месяц. Только во время вскрытия Ангары и ее ледостава она задерживается, потому что кроме реки нет другого сообщения с городом, лежащим в расстоянии 730 версты.

На вопрос мой, могу ли выслать письма, писец ответил, что могу, но только незапечатанные, чтобы могли прочесть их спер-

ва он, потом заседатель и, наконец, исправник. Я воспользовался этим разрешением, и к 1 февраля приготовил письмо, разумеется, написанное по-русски, чтобы не затруднять моих цензоров.

Мне случалось в России иметь как официальные, так и частные сношения с сельскими священниками, и я составил себе очень невыгодное об них суждение. Как же удивился я, когда в кежемском священнике Григории Софроновиче Олофинском²⁸⁹ встретил резкое отрицание этому суждению. Он воспитанник томской семинарии с очень достаточным запасом образованности, вежливый в обращении, скромный и правдивый в словах, многосторонне начитанный, был без малейших задатков суеверия и фанатизма. Принял он меня очень радушно, и мы сошлись с ним запросто, как давно знакомые товарищи и друзья. Это для меня, при тогдашнем моем настроении духа, было счастливейшей находкою. В Кежме я был опять один, а несноснее одиночества, опаснее его и убийственнее ничего быть не могло. Меня пугал возврат галлюцинаций. Не таковы однако же были священники соседних приходов Паншинского (вверх по реке) и Кашино-Шиверского (ниже). Первый при мне рассказывал, как он встретился в тайге с *лишаком*²⁹⁰, играл с ним в карты и поразил его трефовым хлюстом, а приставшую к нему соблазнительницу-русалку расплавил крестным знаменем.

Первым по приезде в Кежму старанием моим было избавиться от насекомых, сделавших нападение на меня сейчас же по выезде из Тобольска, и размножавшихся со дня на день. У хозяина моего не было бани, но в близком соседстве была небольшая. Я обратился с просьбою истопить ее для меня. На другой день мне дали знать, что она готова, и я отправился. Предбанника не было, и я стал раздеваться в бане, скинул тулуп и начал снимать сапоги. Как вдруг в баню вбегают две девушки и начинают поспешно раздеваться. Я, сидя неподвижно, с удивлением смотрел

²⁸⁹ Григорий Олофинский (ок. 1840 – ок. 1915), в 1864–1869 гг. священник в Спасской церкви в селе Кежма Енисейского округа Енисейской губернии. Было это его первое место службы. Позднее был переведен на юг Енисейской губернии – в Минусинский округ.

²⁹⁰ Лешак-леший, человекообразное сказочное существо, живущее в лесу. Дух леса, его хозяин.

на них. Одна успела раздеться уже совсем, вскочила на полог и закричала: «Манефочка, поддавай!» Манефочка плеснула ковшом на камни и, скидывая рубашку, обратилась ко мне: «Что ж сидишь? Раздевайся, вот мы тебя попарим!» Я едва опомнился, поскорее надел снятый сапог, схватил тулуп и шапку, выскочил из бани, и оделся уже на морозе. Мне слышен был хохот в бане, и одна девушка приотворила несколько дверь, высунула голову и спросила: «Чего ты?» Я чуть не опрометью убежал домой. Чрез несколько дней я рассказал это событие священнику. Он улыбнулся и сказал мне:

– Вы в Азии, и в глубокой патриархальной Азии, и вам по европейским понятиям это кажется чем-то несообразным, и даже безобразным. Но в чужой монастырь со своим уставом не ходят. В здешнем крестьянском быту без различия пола моются в бане все вместе, нисколько не стесняясь, и именно от этого нестеснения и дурных последствий никаких не бывает. Объясните им, что это соблазн и разврат, и вы введете их в соблазн и разврат. Австралийские дикари ходят без платья, точно как мы в бане, и это у них прилично и не производит никакого соблазна. Да и европейские модные дамы, стыдливо прикрывающие шалью или хоть платочком, шею и грудь в домашнем наряде при виде одного чужого мужчины, идут на бал, где сотни мужских глаз смотрят на их обнаженные шею и груди, которых кежемские девы никогда не прячут. Сравнительно – вам случилось побывать на местном балу *decolte*. Вы оказались неловким кавалером, и пораженные вашей неловкостью дамы смеялись над вами. Они хотели сами помыться и вам услужить. Привыкайте, привыкайте, исподоволь к патриархальным здешним нравам, несхожим только с вашими прежними привычками. Но этого нельзя же ставить им в укор и в осуждение. Горю же вашему легко пособить. Приходите ко мне в баню завтра. Я не пошлю к вам дев, а трапезник мой поможет вам помыться и, когда угодно, отстегать вас веником на славу.

По Кежме разнеслось, что я богат, потому что у меня рубашки кисейные, даже лучше писарских. В одно утро хозяйка моя, подавая самовар, объявила мне, что она сегодня будет мыть белье, и потому может, вместе со своим, вымыть и мои кисейные

рубашечки. Я обрадовался предложению и отдал ей 4 перемены. Через дня два смущенная хозяйка моя с беспокойством спрашивает меня:

– Что это с твоими рубашечками?

– А что?

– Да они совсем разлезаются.

– Как разлезаются?

– Да так разлезаются. Погляди.

Я пошел смотреть, и вижу: в самом деле все мое белье именно «разлезается». Стоит взяться только за него, как кусок и остается в руках. Она, вместе со своим толстым бельем, положила и мое в едкий щелочь, приготовленный из жженой губы, т.е. из сухих и твердых грибов, растущих преимущественно на березах и осинах. Таким образом я остался при двух только переменах, и должен был запастись таким бельем, для которого щелочь не страшен. Мыло здесь составляет туалетную только специальность, и девушки часто не только от матери, но иногда и от бабушки получают кусок его, как свадебный подарок. В бани веник, политый щелоком, отлично соскребывает и смывает всю грязь, накопившуюся на теле, а жар у потолка бани уничтожает всех насекомых, и потомством и зародышами их в белье, там повешенном. Да, нужно привыкать к здешним патриархальным нравам – повторил я, когда моя голову, неосторожно заплеснул себе несколько щелоку в глаза. И не с одним мылом пришлось расстаться. Крестьяне пьют чай (кирпичный) совсем без сахара, с хлебом и солью. Сахар, и то вприкусочку, подается только как десерт при угощении. За листовой табак тоже нужно было не раз приниматься, особенно во время остановки почты. О кофе и мечтать было неуместно.

Все тут в обрез, за исключением водки, которой выпивается страшное количество. Пьют ее мужчины, пьют и женщины, пьют старики, пьют и молодые, и пьют всегда не для подкрепления сил, а до полного опьянения и бесчувственности. Порок этот развит здесь до *pes plus ultra*²⁹¹, не смотря на непомерную дороговизну и низкое достоинство производящей его влаги.

²⁹¹ До крайних пределов (лат.).

К чести здешнего народонаселения нужно однако же заметить, что воровство и адюльтер (разумеется, не без исключений) при столь сильно развитом пьянстве, являются сравнительно редкими последствиями его.

Зашел я зачем-то на хозяйскую половину избы, хозяйка страпала у печи.

– Осипыч! Вот я испеку тебе шаньгу²⁹² с яблоками. Съешь?

Не понимая, что такое шаньга, но соблазнившись яблочками, я воскликнул: «С яблочками? Как не съесть?» она сейчас же мне подала какую-то теплую круглую лепешку, с приподнятыми и зазубренными краями. Я поблагодарил ее и ушел в свою горницу. Там стал рассматривать, что здесь зовется шаньгой. Это была ватрушка из темной пшеничной муки, с наложенною сверху какою-то мякотью. Должно быть, это тертые печеные яблоки – подумал я – вещь славная! Но, увы, попробовал – и что же? Картофель, не более как картофель, безвкусный, без масла, без соли. Эх, яблочки, яблочки, далеко где-то вы растете, и не только есть, но и видеть вас не суждено уж мне более.

Едва в июне получил я ответ на мое февральское письмо, и вскоре затем мне выданы были деньги из волостного правления, оставшиеся в петропавловской крепости, и пересланные через тобольский приказ о ссыльных. Высланные же в октябре ещё из Москвы 250 руб., которые я (как узнал из письма от своего семейства) должен был получить в Тобольске, завязли где-то. Они не исчезли, а достались кому-то, только не мне.

Оставалось жить в неприглядной Кежме, далеко от милых друзей, от дорогого и осиротелого семейства, жить в одиночестве, с грустью, тоскою, и без малейшего проблеска надежды. Тот только, кто сам, да еще проживши 50 лет чуть не в неге, испытал подобную моей житейскую катастрофу, тот только поймет весь гнет такого горя.

1888 г., 27 октября
Енисейск
М. Маркс

²⁹² Шаньга – хлебобулочное изделие из цельнозернового, ржаного или ржано-пшеничного теста. Блюдо финно-угорского происхождения.